

о жизни, что сильнее любви

СТРЕКОЗА ТЫ МОЯ БЕСТОЛКОВАЯ

роман

ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ ИМЕНИ
И. А. ГОНЧАРОВА

ТАТЬЯНА БУЛАТОВА

автор бестселлера «Бери и помни»

Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой

Татьяна Булатова

Стрекоза ты моя бестолковая

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Булатова Т.

Стрекоза ты моя бестолковая / Т. Булатова — «Эксмо»,
2022 — (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)

ISBN 978-5-04-174038-2

Книги Татьяны Булатовой читаются легко и увлекательно, потому что отлично написаны, и даже когда речь идет о драматичных событиях, все равно чувствуется неповторимая авторская ирония. «Ох уж эта Люся», «Большое сердце маленькой женщины», «Мама мыла раму» и многие другие книги известны и любимы читателями. «Стрекоза ты моя бестолковая» — книга о любви. Но не той любви, о которой пишут в «женских романах», а настоящей любви, которая никогда не бывает легкой. История Кости и Машеньки, непростая, горькая, обязательно тронет читателя и заставит задуматься о том, какие крутые виражи иной раз выделяет судьба, проверяя человека. Машенька была похожа на стрекозу: тоненькая, хрупкая, с большими, широко расставленными глазами. Казалось, ее мог сдуть ветер. Костя влюбился до умопомрачения: от ее запаха кружилась голова, с ней он забывал о сне, еде, о тех простых человеческих делах, которые наполняли жизнь всех вокруг. Так бы и сидел рядом с ней, забыв о работе, о друзьях-товарищах. И Маша отвечала ему взаимностью. Но вскоре Костя понял, что его Машенька — не такая, как все. Тонкий, психологичный, написанный с иронией и неповторимой сказовой интонацией роман о том, что бывает, когда жизнь вмешивается в любовь.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-174038-2

© Булатова Т., 2022

© Эксмо, 2022

Татьяна Булатова

Стрекоза ты моя бестолковая

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Федорова Т. Н., 2022

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022

* * *

На Марфу Васильевну Соболеву жалобы писали с завидным упорством. И в домоуправление, и в общественный пункт охраны порядка, и в отделение милиции, и в санэпидстанцию. Куда можно – туда и писали. И правильно делали! Мыслимое ли дело?! В однокомнатной хрущевке и одному-то человеку дышать нечем, а здесь – больше двух десятков кошек! А может, и трех. Говорят, когда эту сумасшедшую психиатрическая бригада силком из квартиры выволакивала, со счета сбились.

В общем, как только Марфу – в машину, соседи – к дверям. И давай кричать на участкового Куруськина, предусмотрительно перекрывшего вход в Марфины чертоги:

– Открывай дверь, начальник. Открывай! Мы это гнездо крушить будем. Сколько лет мучились – вонь эту терпели, здоровье теряли, нервы портили!

– Не могу, граждане! Права не имею. Вдруг – вернется, а тут все раскурочено. Кто отвечать будет? Я?!

– Ты власть – ты и отвечай! – Разгоряченные жилыцы стеной пошли на участкового. – А если внутри кошки остались? От голода сдохнут – вонять начнут. Все равно милицию вызывать придется и дверь взламывать.

– И взломаем! – с готовностью пообещал лейтенант. – Санкция будет – любую дверь взломаем!

– Когда-а-а-а?

– Да откуда я знаю когда! – взвился Куруськин, но быстро успокоился и, прижав к груди кожаную папку с документами, пояснил: – Дохлая кошка – это вам не труп! Никакого преступления в ее смерти нету. Столько лет терпели, еще пару недель подождете, пока бумага из Карамзинки не придет: что так, мол, и так, оставлена ваша Марфа Васильевна на принудительное лечение до конца своих дней.

Слово «Карамзинка» на митингующих произвело отрезвляющее действие: психиатрическая больница имени Н. М. Карамзина – заведение серьезное, с ним не поспоришь. И только Нина Жданова – старшая по подъезду – грудью пошла на участкового, раздувая ноздри:

– Пока бумага из Карамзинки дойдет, как бы ты, Анатолий Сергеевич, без погон не остался. Сейчас вот печать на дверь поставишь, а там – труп, потому что психованная наша здесь не только ночлежку для кошек устроила, а и всяких разных привечала, что под лавками в парках ночуют или в подвалах прячутся. Смотри, начальник!..

Немного подумав, лейтенант, не меняя местоположения – перед дверью, нерешительно переступил с ноги на ногу и нехотя предложил:

– Что ж, осматривать будем?

– Будем, Анатолий Сергеич, – блестя глазами, выдохнула Жданова и возглавила отряд столпившихся около проклятой двери соседок.

– Без понятых не положено, – участковый пытался следовать букве закона. – Понятых надо брать. Кто, граждане, пойдет в понятые?

Вместо ответа на вопрос поднялся лес рук.

– Столько понятых не бывает, – покачал головой Куруськин и, строго посмотрев на желающих, скомандовал: – Гражданка Жданова, гражданка Сидорова и вы (он обратился к управдому Гаврилову), Петр Вениаминович, пройдемте со мной...

– А мы? – заволновались ощущавшие свою причастность к происходящему соседи.

– Не положено, – отрезал участковый, распахнул дверь и шагнул через порог.

Так и есть – пушистыми брызгами врассыпную бросились кошки, схоронившиеся в квартире, пока из нее вытаскивали горячо любимую хозяйку.

«Правы, черт побери!» – вынужден был признать Куруськин, незаметно переглядываясь с печальным управдомом Гавриловым, судорожно прикладываящим к носу скомканный несвежий платок: вонь стояла страшная!

Первым замутило Петра Вениаминовича, но он мужественно сдерживался ввиду своего служебного положения. Другое дело – Сидорова. Взглянув на скорчившееся начальство, она легко ретировалась из квартиры, невзирая на возложенные на нее полномочия.

– Ну что там, Люда? – тут же окружили ее женщины: – Правда, что ль, труп?

Одуревшая от вони, Сидорова побоялась открыть рот и только отрицательно замотала головой. А потом и вовсе стремглав выбежала из подъезда на свежий воздух. И там, под высокими тополями, у нее возникло ощущение, схожее с тем, что девчонкой пережила на уроке начальной военной подготовки, когда бесшабашные одноклассники ради шутки пережали ей соединительную трубку противогаза и она чуть не потеряла сознание. «Вот уж точно! – шумно втянув в себя воздух, изумилась Сидорова. – Живем и не замечаем, дышим себе и дышим, как будто так и надо...»

Пока она размышляла о прелестях нехитрого человеческого существования, из подъезда вывалился бледный Петр Вениаминович, но до целительных тополей не добрался – стравил сразу же на клумбу, забыв, что та являлась эстетическим достоянием двора образцового содержания.

– Эк тебя, Вениаминыч! – посочувствовала воскресшая на свежем воздухе Сидорова, а потом решительно заявила: – Как хочешь, а я туда больше ни ногой. Мне моя жизнь дорога, будь там хоть два трупа...

И только управдом Гаврилов собрался сообщить, что никаких трупов в квартире не обнаружено, как его вырвало еще раз, и он мысленно поклялся запретить разведение домашних животных в квартирах вверенных ему граждан из двадцать четвертого дома на Западном бульваре, что недалеко от железнодорожного вокзала «Кушмынск-Центральный».

В итоге самыми выносливыми оказались участковый Куруськин и несигибаемая Нина Жданова, ради справедливости готовая на немыслимые жертвы.

– Брысь! – прикрикнула она на разлегшихся на диване кошек и смело потянулась к груде тряпья, которое, видимо, служило одеялом для депортированной из квартиры Соболевой.

– Не трогайте! – прошипел лейтенант, разглядевший под разномастными тряпками контуры человеческого тела. – Там кто-то есть.

– Где? – с ходу не поняла Нина Жданова и на всякий пожарный отошла от растерзанного кошками дивана в сторону.

– Там, – прошептал участковый, надел фуражку и аккуратно, двумя пальцами отогнул край тряпичной кучи. Так и есть – под ней мирно посапывал бородатый мужичонка в линялом фиолетовом трико и затрапезной майке с надписью «Олимпиада-80».

Прокашлявшись, участковый приступил к процедуре выяснения личности:

– Гражданин!

Гражданин в ответ даже не пошевелился. Куруськин нагнулся, принялся, но, как ни странно, перегара не почувствовал. Видимо, по сравнению с устойчивым запахом кошачьих меток и экскрементов он был неуловим. Но он был! На что имелся ряд документальных свидетельств, подписанных полным составом приглашенных понятых: товарищами Гавриловым, Сидоровой и Ждановой.

– Гражданин! – повысил голос Куруськин, а преданная делу порядка Нина Жданова повторила слова участкового, но в доступной ей форме:

– Мужик, ты чё? Спишь тут, а?

Мужичонка с трудом приоткрыл один глаз и с умилением протянул:

– Ма-ань...

– Какой это тебе «Мань»? – возмутилась старшая по подъезду. – Не видишь? Милиционер это! Видали, тарщ участковый, до чего люди нажираются? Бабу от мужика отличить не могут...

– Предъявите ваши документы, гражданин, – со всей строгостью потребовал лейтенант и протянул к бородачу руку.

– Ма-ань! – заорал тот в ответ и приподнялся на локте. – Где у нас документы?

– Нету Мани твоей, – известила мужичка Жданова. – В утиль свезли вместе с кошками.

– Нет, – покачал головой бородач и точно определился в своих симпатиях: – Начальник, ты это... бабу не слушай. Маня придет...

– Не придет твоя Маня, – участковый не выдержал и прикрикнул на мужика. – Увезли твою Маню... Нету... Все!

– Как увезли? – заволновался мужичок. – Куда?

– За кудыкину гору! – вмешалась Жданова и грозно предупредила: – Оттуда, мил-человек, не вертаются.

Бородач приподнялся, спустил ноги с дивана и сел, натянув на плечи грязное тряпье.

– Ну чё, протрезвел? – усмехнулась Нина и покосилась на участкового. – Ты вообще, мужик, чей? Не Марфин ли сожитель?

Бородач отрицательно помотал головой и передвинулся к краю дивана.

– Гражданин! – Куруськин вернулся к своим прямым обязанностям. – Вы это... вставайте и пройдемте со мной для выяснения личности.

– Подожди-ка, Анатолий Сергееч, – процедила старшая по подъезду и, по-гренадерски вытянувшись вверх, рявкнула: – Так, мужик, слушай меня. Ты кто? Не помнишь? Щас вспомнишь! Щас тебя в бобик засадят и куда надо отвезут. Здесь не общага – без паспорта жить! Шевелись давай, пьянь!

Бородач свесил ноги с дивана, попытался встать, но тут же завалился назад на грязную кучу.

– Шатает, – добродушно усмехнулся он и предпринял еще одну попытку занять вертикальное положение.

На какое-то мгновение ему это удалось, но стоять ровно на одном месте все равно не получалось: бородач раскачивался, как маятник. И когда об ноги страдальца потерялся вынырнувший неизвестно откуда кот, мужичонку вновь опрокинуло назад.

– Ой, никак что-то, – застеснялся он, обескураженно заморгал и переключился на кошака, вьющегося возле ног. Увидев, что тот поднял хвост трубой и мелко-мелко им завибрировал, бородач разулыбался и похлопал себя по коленке. – Кузя, Кузя...

Кузя поднял треугольную башку, сощурил глаза и извлек из себя нечто похожее на мерзкий скрежет.

– А ну иди отсюда, дрянь такая! – замахнулась на кота Жданова, вызвав в мужике заметное сопротивление.

– А ну! Не моги! – грозно произнес он и почесал бороду. – Манька узнает, больше не пустит. Нельзя!

– Я и тебя, и твою Маньку, и кошек этих сраных в гробу видала! Вставай давай, выматывайся, чтоб духу твоего здесь не было! Ни твоего, ни тварей этих, пока отравой здесь все не засыпала.

От крика Ждановой мужичонка поморщился и как ни в чем не бывало поинтересовался:

– А Маня-то моя где?

Участковый с тоской посмотрел на Нину и буднично огласил итоги осмотра квартиры Марфы Васильевны Соболевой:

– Следов преступления не значит. Можно опечатывать. А этого – на улицу, пусть идет куда хочет. Толку от него никакого.

– А где мой паспорт? – неожиданно поинтересовался бородач и шмыгнул носом.

– А это тебе в милиции, мил-человек, скажут, – успокоила его Жданова и легко приподняла мужика за шиворот. – Иди давай... Паспорт!

Вытащив беспаспортного за дверь, старшая по подъезду проволокла его по лестнице и силком усадила на лавку около подъезда.

– Сиди давай, пока не протрезвеешь, – приказала Жданова и вернулась в Марфину квартиру, откуда несчастный Куруськин выгонял подзадержавшихся котов и кошек. – Все, что ли?

– Вроде все, – неуверенно ответил участковый и стащил с головы фуражку.

– А ты, Сергеич, и впрямь печати наклеишь? – вкрадчиво поинтересовалась Жданова, радея за дело – освободить подъезд от смердящей скверны.

– Положено, – уклончиво ответил Куруськин и рукой показал преданной Нине на дверь.

– Ты бы, лейтенант, людей уважил! – Она, похоже, не теряла надежды. – От того, что мы здесь порядок по-соседски навели, большой беды бы не случилось. Чай, у всех дети, не щенки. Сквозь эту вонюху столько лет ходили! В подъезд войти было страшно. А ты: «Не положено!»

– Не положено, – повторил участковый и двинулся на Жданову строевым шагом.

– А подписать?! – напомнила ему старшая по подъезду и смиренно застыла возле раздолбанного косяка.

– Подпишем, – обнадежил ее Куруськин и буквально выдавил свою помощницу из квартиры.

Увидев, что участковый приготовился к опечатыванию двери в жилище Марфы Васильевны Соболевой, женщины, толпившиеся в подъезде, зароптали и двинулись на Куруськина, словно на врага.

– Вот, – ткнула его Жданова в бок. – Видал? Я ж говорила: народ уважить надо. Пожалеть надо народ-то. Чай, это человек, а не так себе – мусор. У нас ведь и дети, и старики, в общем, все этот смрад нюхали. А там, можа, и зараза, и не знай что еще! По-человечьи бы надо, лейтенант.

– Уважаемые женщины! – торжественно обратился участковый и строго сдвинул светлые брови, отчего стал похож на молодого актера, загримированного под старика. – Квартира будет опечатана. Товарищ Гаврилов сделает заявку в санэпидстанцию. Гигиенисты все обработают, очаг инфекции будет ликвидирован. А пока – расходитесь, женщины, по домам. Расходитесь по-хорошему. Без этих, как его, «инцидентов». Просто расходитесь по своим квартирам, к своим детям и престарелым родителям...

– Да-а-а?! Расходитесь, говоришь? А говно это кто убирать будет? Санэпидстанция твоя? Так она, кроме как тараканов морить, ничего больше и не умеет. Придут – прыснут и назад на станцию, а нам тут опять эту вонюху нюхать?!

– Хватит! – бойко выкрикнула вернувшаяся с улицы Люда Смирнова и воинственно затрясла кудельками, покрывавшими ее несоразмерно маленькую по сравнению с туловищем голову.

– Гражданка Смирнова! – официально произнес участковый, стараясь не смотреть на ее выдающуюся грудь. – Вы это... перестаньте подстрекательством заниматься. А то ведь тут и до административной ответственности недалеко. Прямо-таки бабий бунт какой-то устроили! Митинг! Говорю, не положено, значит, не положено.

– Ну... не положено так не положено, – неожиданно миролюбиво протянула Жданова и хитро подмигнула разволновавшимся соседкам. – Раз начальство говорит, значит, так надо.

Почувствовав крепкое и, как ему показалось, надежное плечо старшей по злополучному подъезду, молодой лейтенант воспрял духом и приступил к опечатыванию квартиры. За спиной у представителя власти только и остались что преданная делу охраны порядка Нина Жданова и вероотступница Люда Сидорова. Управдом Гаврилов так и не рискнул подняться к соболевским дверям и остался сидеть на лавочке у подъезда, периодически шумно вдыхая чистый воздух.

Завершив процедуру опечатывания, лейтенант Куруськин в окружении дородных Ждановой и Смирновой покинул подъезд и мгновенно зажмурился от бившего в глаза солнца. После катакомб зловонной Марфиной квартиры мир казался ослепительно-белым, и по белому проскальзывали какие-то радужные всполохи. «Прям северное сияние!» – подумал несчастный участковый и пришел в хорошее расположение духа. День близился к полудню, задача номер один была выполнена: дом № 24 по Западному бульвару очищен от мяукающей заразы во главе с придурковатой Марфой Васильевной Соболевой.

Впрочем, лично ему, Анатолию Сергеевичу Куруськину, сама Марфа не сделала ничего дурного. Всегда тихая, сомнамбулически улыбавшаяся беззубым ртом, всякий раз при встрече торопившаяся сделать какой-то немыслимый «реверанс»... Шут его разберешь, откуда его взяла! Вроде говорили – из деревни сама-то. А по документам – из Охотничьей. Так это какая деревня? Железнодорожная станция: перрон, два двора. Значит, ни из какой Марфа не из деревни! Жданова вот – из деревни, не перепутаешь. Кулак как арбуз. Плечи – сажень. И лицо уж больно грубое, как у каменной бабы в степи. Когда под Донбассом служил, таких видел. А эта... В кости узка, глаза площадками на пол-лица, и ходит все время словно танцует. Балерина, е-мое.

Перед глазами очумевшего от запаха молодых тополей участкового как-то совсем не вовремя поплыли зеленые всполохи. «Ба-а-а-а, – огорчился Толя Куруськин. – Чего это со мной? Не иначе как отравление. Нечего было этих баб слушать. Бац – печать на дверь, и дело готово. Иди себе в отделение, завтракай». Мысли о еде вызвали у лейтенанта приступ тошноты, и он присел на лавочку возле подъезда, на которой все еще восстанавливал свои силы управдом Гаврилов.

– Душно что-то, – не поворачивая головы, пожаловался Петр Вениаминович.

Куруськин молча кивнул.

– Может, гроза или что там...

– Дождь обещали, – нехотя выдавил из себя участковый, побледневший от накрывшей его разом мутоты.

– Я, может, не про то, – промямлил Гаврилов, – но женщину, товарищ лейтенант, жалко. – Управдом покосился на не мытые годами окна квартиры Марфы Васильевны.

– Жалко, – быстро согласился с ним Куруськин и страхнул с форменных брюк рыжий кошачий волос.

– Оно, конечно, антисанитария там и запах, но уж сама-то Марфа – божий человек, дурочка, одним словом, – продолжал Гаврилов свою покаянную речь. – Почто мы, участковый, ее так?!

– По заявлению, – официально ответил лейтенант и вздохнул: – Разве ж это от меня зависит?

– А от кого? – все так же, не поворачивая головы, поинтересовался управдом.

– А хоть бы и от вас, – неожиданно строго заявил Куруськин и, как на допросе, задал вопрос: – Заявление от жильцов дома подписывали?

– Подписывал, – подтвердил Петр Вениаминович, и лоб его покрылся испариной.

– Ну, а что хотите-то?

– Нехорошо мне как-то, – признался Гаврилов, буквально еще утром грозившийся разворошить это кошащее логово.

Куруськин с пониманием посмотрел на управдома, но о своих чувствах не сказал ни слова, постеснялся, можно сказать, так как был при исполнении и лицо официальное. Да и что он мог сказать расстроенному управдому? Ни-че-го. Да и вообще – не его это дело. Его дело, чтобы порядок на вверенной территории, чтоб соблюдение паспортного режима, чтобы пресечение хулиганства и мир во всем мире. «А остальное – увольте!» – захотелось заорать молодому лейтенанту, перед глазами которого стояла Марфа Васильевна Соболева. Точнее, не стояла, а кружилась, как тем ноябрьским утром, когда пошел первый снег и он, участковый Анатолий Сергеевич Куруськин, следовал к месту службы, поеживаясь от особой предзимней зябкости. Запрокинув голову и открыв рот, блаженная Марфа, приплясывая, кружилась на месте, плавно взмахивая руками.

– Взлететь собираетесь? – неловко пошутил тогда молодой участковый, чем напугал замороженную вращением женщину.

Замерев на минуту, та внимательно посмотрела на улыбавшегося ей человека в форме и, широко открыв рот, засунула в него палец.

– Что? – растерялся тогда Куруськин и покраснел, не зная, как быть дальше.

А Марфа, быстро сообразив, что в намерениях участкового не было ничего угрожающего, улыбнулась ему беззубым ртом и с упоением вновь начала вращаться.

– Каша, – прошептала Соболева и, откинув голову назад, тоненько засмеялась: – Каша... Ешь... Вкусно.

Куруськин вслед за Марфой посмотрел в низкое серое небо – на лицо упали снежинки.

– Каша, – причмокнула она и доверчиво потянулась к лейтенанту. – Ешь...

Из рта женщины пахло гнилью, лейтенант отшатнулся и, не удержавшись, вытер лицо.

– Е-е-ешь, – снова предложила Марфа Куруськину и, словно в секунду забыв о нем, возобновила свой одинокий танец, передвигаясь к центру двора, то поднимая, то опуская гибкие руки.

Когда лейтенант покидал прилежащую к двадцать четвертому дому территорию, блаженная стояла на детской деревянной карусели, широко расставив ноги и не двигаясь. «Снежинки ловит!» – догадался участковый и вспомнил себя за тем же занятием. Воспоминание отбросило его на лет пятнадцать-двадцать назад, в не устающее удивляться первому снегу детство. «Ну уж нет! – с усилием выдернул себя из нахлынувших воспоминаний. – Где я? А где она, эта сумасшедшая», – пробормотал он и решительно встал с лавки, чтобы отправиться к делам насущным и важным.

Именно на них сослался и управдом Гаврилов, кряхтя поднявшийся со скамейки:

– Ну, Анатолий Сергеич, делу – время, потехе – час, – произнес он, абсолютно не вдумываясь в истинный смысл приведенной пословицы.

– Хороша потеха, – буркнул Куруськин, – обхохочешься...

– Я не то имел в виду, – покраснел Петр Вениаминович. – Намеревался сказать: хватит сидеть на солнышке греться, пора и честь знать. Дел неуправдом.

Куруськину захотелось спросить: «Каких?» – но вместо этого участковый расправил плечи, взял под козырек и решительно зашагал в сторону детской площадки, где на краю песочницы расположился выдворенный из Марфиной квартиры бородач.

Заприметив приближающегося милиционера, мужичок вытянул ноги и скрестил руки на впалой груди, приняв позу отрешенного мыслителя, задумавшегося о закономерностях бытия. Весь его вид говорил о том, что все вопросы житейского характера – ничто по сравнению с думой, его посетившей.

– Документы, – протянул руку лейтенант, и в голове пронеслось: «А зачем мне его документы? Спрашивал ведь уже. Все равно не покажет».

В ответ бородач, не меняя позы, поднял на участкового щедро исчерченные красной сосудистой сеткой глаза и с недоумением посмотрел.

– Спрашивали уже. Нету. – Он почесал заросшую щетиной шею и развел руками.

– А были?

Мужичок кивнул.

– Ну и куда тогда делись? – без протокольной интонации поинтересовался Куруськин, испытав острое желание сесть на край песочницы и вытянуть взопревшие в форменных ботинках ноги.

– А кто ж его знает? – искренне удивился бородач. – Может, Маня взяла. А может, выронил где. Разве ж вспомнишь?!

Участковый переступил с ноги на ногу, но сесть не решился.

– Сидай, лейтенант. Чё стоять? В ногах правды нет, – доверительно сообщил беспаспортный, словно почувствовав тайное желание Толи Куруськина.

Участковый повертел головой по сторонам, пытаясь определить, как будет воспринят акт его доброй, демократической воли, если он присядет рядышком с тем, кто во всех смыслах нуждается в административной опеке. Похоже, до лейтенанта никому не было дела: у правды Гаврилова и след простыл, а у подъезда Марфы Соболевой, кроме огромной Ждановой, застывшей над оскверненной Петром Вениаминовичем клумбой, никого не наблюдалось.

– Давай, – мужичок похлопал ладонью по деревянному бортику песочницы. – Не бойся, не запачкаешься, – пообещал он и со свистом подул на деревяшку, чтобы с той слетели все песчинки. От такого отношения к себе Куруськину стало неловко, и он, подтянув брюки на коленях, аккуратно приземлился рядом с бородатым соседом. – Цветков, – представился мужичок и протянул милиционеру руку: – Аверьян Юрьевич.

– Лейтенант Куруськин, – представился участковый и хотел было по привычке взять под козырек, но вспомнил, что фуражка – под мышкой.

– Это, мил-человек, звание у тебя такое «лейтенант», а по-человечески если?

Что значит «по-человечески», милиционер понял не сразу. Равно как и не сразу определил, что тон в разговоре задает не он сам как представитель власти, а этот – с безумным доисторическим именем Аверьян, панибратски протягивающий ему испачканную в масляной краске руку, пожать которую участковый так и не решился. Владелец всклокоченной бороды с недоумением посмотрел на свою повисшую в пустоте руку и вытер ее об линялое фиолетовое трико.

– Это краска, – объяснил он, заподозрив, что лейтенант боится испачкаться. – Не отмывается. Растворителя нет, Маня куда-то задевала. Вот придет – даст.

– Не придет. – Задрав голову вверх, Куруськин втянул в себя нагретый солнцем воздух.

– Приде-о-от! – заверил его Цветков и тоже посмотрел вверх. Ничего примечательного там не было: только небо и на нем солнце. – Куда денется!

– А вы ей, гражданин Цветков, кто? Сожитель?

При слове «сожитель» бородач зажмурился и отрицательно замотал головой.

– Тогда, может, родственник? – Лейтенант не терял надежды определить степень близости Марфы Соболевой и откопанного в ее квартире найденыша.

– В смысле, что родная душа? Тогда – родственник. По-другому и не скажешь.

Однако ответ Куруськина не удовлетворил, а поэтому он для окончательного выяснения ситуации вопрос переформулировал:

– Что вы делали в квартире Марфы Васильевны Соболевой в то время, пока ее отправляли на принудительное лечение в психиатрическую больницу?

– Спал, – честно ответил Аверьян Юрьевич. – Ты ж видел. Отдыхал после рабочего дня. Вот, – протянул он участковому свои перемазанные краской руки. – Маня может подтвердить.

Очередное упоминание о Мане ввергло Куруськина в уныние. Он внимательно посмотрел на перевернутые ладони Цветкова, потом строго взглянул в его спрятавшиеся за кустистыми нависающими бровями глаза и заподозрил своего визави в умственной отсталости. Бородач категорически отказывался принимать во внимание многократно повторенную информацию о том, что хозяйка квартиры Марфа Васильевна Соболева, 1938 года рождения, была сегодня, 31 мая 1983 года, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Н. М. Карамзина в сопровождении узких, так сказать, специалистов. «Как бы еще раз вызывать не пришлось!» – опечалился лейтенант и незаметно отодвинулся от Цветкова в сторону.

Поразительно! Дело не стоило выеденного яйца, а завершить его не получалось: все время что-то мешало. То кошки, то бабы, то неопознанные личности, нарушающие паспортный режим. Участковому стало обидно: об этом ли он мечтал, поступив на заочное отделение юридического института города Кушмынска?! С самого детства Толика Куруськина манил романтический образ благородного следователя по особо важным делам, составленный им по фильмам «Рожденная революцией», «Место встречи изменить нельзя», «Петровка, 38» и другим. Благодаря отечественному кинофонду Анатолий Сергеевич легко представлял себя то в роли пропахшего дымом и кожей Жеглова, стреляющего из окна ревущего «Фердинанда», то в облике дослужившегося до звания генерал-лейтенанта Николая Кондратьева, то в амплуа проныцательного майора Костенко. Допросы, очные ставки, погони, благородный риск и стрельба из табельного оружия – вот что должно было составлять ежедневный «рацион» Анатолия Сергеевича Куруськина! Но вместо этого молодого участкового ожидали непрекращающиеся кухонные войны, бытовое пьянство, рукоприкладство, нарушение паспортного режима и анонимные послания самого разного толка по поводу и без.

– Что, лейтенант, горюешь? – как-то очень проникновенно полюбопытствовал Аверьян Цветков, искоса наблюдавший за присевшим рядом представителем власти.

– Душно, – не глядя на собеседника, ответил Куруськин и оттянул форменный галстук. Показались сизые резинки, сползший вниз узел обнажил пару пуговиц и вернулся в прежнее положение.

– Сними гаврилу-то, – посоветовал бородач и для пушей убедительности крючковатым пальцем потянул вниз растянутый ворот футболки: показалась покрытая курчавыми волосами впалая грудь.

– Не положено, – выдавил лейтенант и вытер тыльной стороной ладони покрывшийся испариной лоб.

– А ты забудь про то, что положено, делай, как душа просит, – продолжал соблазнять участкового Цветков. – Вон смотри, ворона ходит, никого не спрашивает, положено – не положено.

– Это галка, – поправил Куруськин и тоже стал наблюдать за птицей, деловито вращающей головой. – Если каждый будет жить, как душа просит, это что будет-то тогда?

– Рай будет.

– Не положено, – отверг участковый предположение собеседника и добавил: – Вот Марфа... Васильевна... жила по своим правилам и что?

Аверьян молча уставился на лейтенанта.

– И то! – сам себе ответил Куруськин, расстроился, почувствовав за собой какую-то невнятную вину, и неожиданно рассердился: – Теперь по другим жить будет!

– Маня-то? – сквозь бороду усмехнулся Цветков. – Маня не будет. У ней свой устав. Куда хочю – туда лечу.

– Вот и долеталась, – съязвил участковый.

– Это ты про дурку-то? – уточнил Аверьян и строго посмотрел на Куруськина. – Тоже мне новость! Так не в первый раз!

– А в какой? – опешил участковый, заступивший на должность всего-то два года тому назад.

– В какой – не помню. Полежит месячишко на вольных хлебах, на всем готовом и выпишется. Она там долго не сможет, кошек-то у нее, видал, сколько? Их же кормить надо. Маня сама пожрать забудет, а тварям этим даст. Ладно, лето, тепло. Жратва под ногами так и бегают. А если бы зима?! – с пафосом спросил бородач. – Зимой, я тебе скажу, лейтенант, холодно. По себе знаю.

Куруськин мысленно согласился с собеседником, но вида не подал, промолчал.

– Если бы не Маня, – поведал участковому Цветков, – я б помер. Замерз бы, на хрен. Иногда по этому делу (бородач хлопнул себя ладонью по шее) и упасть придется. А зимой-то, сам понимаешь, в кустах не переночуешь, околеешь. Спасибо, патруль подберет: какой-нибудь жалостливый возьмет да вызовет. А не вызовет – пиши пропало. Лежишь и себя не помнишь, так спать хочется. Только и думаешь: был Аверьян – и нет Аверьяна. Никто не вспомнит, так под номером и похоронят за казенный счет.

– А что ж, родных у вас разве нет? (Куруськин периодически спотыкался, обращаясь к Цветкову то на «вы», то на «ты».)

– Почему нет? Есть. Точнее – были. – Цветков криво улыбнулся. – Были да сплыли. Вот к Мане прибился: и угол, и харч, и скотина домашняя. Вот теперь где буду?

– Без документов-то? Понятно где. Если, конечно, делом не займешься. Ты сам-то по профессии кто?

– Маляр.

– А говоришь, «где буду»? Специальность нужная – в любой стройконтуре примут.

– Ага! Без паспорта?! Ну если только грузчиком, и то – не факт. Все места-то уже расписаны, новичков, брат, не любят.

– Да не такой уж ты и новичок, как я посмотрю, – прищурился лейтенант. – Так всю жизнь, наверное, и перебиваешься. До лета работаешь, потом – гуляешь, а осенью – на постой встаешь... Знаю я вас. Без паспорта, конечно, ни в одной контуре с тобой валандаться не станут. Надо заявлять.

– Не надо, – отказался Цветков и, завернув трико до колен, запрокинул голову. – Жарко... Маня вернется, отдаст. Месяц бы перекантоваться.

– А не вернется?! – начал раздражаться участковый, неприлично долго и заинтересованно беседующий с лицом без определенного места жительства.

– Вернется, – уверенно произнес бородач и бросил в галку маленьким камешком. – Ты смотри, – удивился он, – наглая какая! Ничего не боится: подпрыгнула и дальше пошла.

Настроение у Куруськина испортилось окончательно еще и потому, что уже битых полчаса он сидел рядом с маргиналом, не находя в себе сил принять какое-либо решение: то ли призвать бродягу к порядку, то ли отпустить на все четыре стороны. С точки зрения должностных обязанностей подходил первый вариант. А вот со стороны занявшей совести – разумеется, второй. Цветков в сознании участкового превратился в укоризненное напоминание о событиях сегодняшнего дня, поэтому выбросить его из сердца вон хотелось так же сильно, как и забыть трепыхающуюся в руках у санитаров худенькую Марфу, испуганно озирающуюся

по сторонам. Ну вот зачем это ему?! Эти бабы! Бородатые мужики! Беззубая Марфа! Кошки, галки, анонимки!

Лейтенант вскочил как ошпаренный, водрузил на голову фуражку и, склонившись к самому уху Цветкова, горячо прошептал:

– Шел бы ты, Аверьян, как тебя там по батюшке, Юрьевич, отсюда! Пока доброжелательные граждане мне на тебя жалобу не отстучали. И тогда я приму меры и взыщу с тебя по всей строгости и за нарушение паспортного режима, и за тунеядство, статья 209 УК РСФСР, и за распитие спиртных напитков в общественных местах... – Куруськин перевел дух, выпрямился и совсем уж свирепо произнес: – А за неповиновение лицу при исполнении...

Цветков мгновенно понял намек участкового и мелко затрусил в сторону видневшегося детского сада под названием «Солнышко».

– Куда? – взревел Куруськин, и бродяга, резко поменяв курс, засеменял к выходу из двора дома № 24 по Западному бульвару в сторону трамвайного депо, откуда доносились лязгающие звуки и металлический грохот. Увидев, что беспаспортный Аверьян, никуда не сворачивая, движется в заданном направлении, измученный участковый развернулся в противоположную сторону и отправился в общественный пункт охраны порядка № 2 исполнять служебные обязанности, в число которых входило рассмотрение поступивших писем и заявлений от граждан, проживающих на вверенном ему административном участке.

Пока Анатолий Сергеевич Куруськин твердым шагом продвигался к месту службы, а Аверьян Юрьевич Цветков наблюдал за движением трамваев по кольцу, к подъезду, из которого несколько часов назад под белы ручки вынесли Марфу Васильевну Соболеву, сбегались коты и кошки, приветствуя друг друга пронзительным мяуканьем. Все разномастные, частью – облезлые, частью – по-барски лоснящиеся, с хвостами и без, они вились около обшарпанной двери в загаженную квартиру. Коты поднимали хвосты, оставляя на косяке темные подтеки, точили когти о половик и призывно подвывали, не чая, когда же двери распахнутся и всемогущая Марфа одарит своих питомцев едой и кровом.

– Эк вас сколько! – крикнула Нина Жданова, спускавшаяся по лестнице. – Чисто тараканы! Глаза б не глядели, опять всю лестницу загадят, не продохнешь! Потравить вас, что ли, от греха подальше?!

Кошки смотрели на говорящую бабу, не двигаясь с места, пока Жданова не замахнулась на них клеенчатой сумкой, с которой обычно ходила на рынок.

– Вот я вас! – затопала старшая по подъезду, отчего часть кошек, прижимаясь пузом к бетонному полу, выскользнула прочь. Остальные же остались сидеть, поблескивая светящимися в темноте глазами.

Жданова перевела взгляд на опечатанную квартиру Соболевой и вконец остервенела.

– Потравлю! Всех потравлю, – погрозила она замершим на лестнице кошкам и вышла на улицу.

Свое слово поборница чистоты сдержала, разложив у Марфиной двери куски начиненного отравой мяса, а пострадавшие из-за соседства с Соболевой жители подъезда, дождавшись темноты, сорвали печати и разгромили проклятое логово изнутри, взломав пропахшие кошачьей мочой полы, отодрав затертые их боками обои и выбросив жалкий, ободраный со всех сторон диван, на котором коротали ночи Марфа, ее питомцы и забредшие на огонек постояльцы. Не тронули только шкаф с бельем и кухонный стол с табуретками – вдруг, не дай бог, вернется.

Разбираться, кто зачинщик, утром не стали: и так все ясно. Посовещавшись с оправдом, взволнованный Куруськин сделал внушение жителям подъезда, но ход делу не дал, скрыв от общественности и властей факт бытового вандализма.

Квартиру опечатали еще раз, после чего Люда Сидорова так щедро усыпала хлоркой всю лестничную площадку, что преодолевать ее приходилось, исключительно зажмурившись

и закрыв рукою нос. В результате – кошек стало гораздо меньше, а из сырого подвала вскоре потянуло тухлятиной. Подумали: крыса сдохла, – и хотели в который раз вызвать санэпидстанцию, но Жданова запретила, потому что знала: нет там никаких крыс. Кошки есть, а крыс нету. «Повоняет и бросит», – заверила она жильцов и объявила субботник, на который впервые вышли все – единодушно, семьями, с ощущением, что началась нормальная человеческая жизнь. Хотели даже половик положить в подъезде, но решили, что не гигиенично, и просто возродили дежурство. Даже график составили, согласно которому на отдельно взятую квартиру раз в неделю накладывалась обязанность мыть лестницу от пятого этажа до первого. За соблюдением очередности строго следила общественница Жданова, радеющая за порядок с таким энтузиазмом, что становилось страшновато от ее пристрастного взгляда. И только смелая Люда Сидорова, возмущенная постоянным контролем за качеством уборки, решила донести до Ждановой чаяния подъездного сообщества:

– Нина, иди в жопу со своей чистотой! Нравится – мой, мы тебе еще приплачивать будем. Мало у меня за спиной мать-покойница кряхтела да пальцем тыкала – «тут грязно, там грязно», теперь – ты!

Жданова с достоинством выслушала пожелания соседки, а потом взяла и обиделась, сняв с себя полномочия старшей по подъезду. Напуганные ее решением, жильцы по очереди звонили в квартиру отступницы и терпеливо уговаривали ту не оставлять общественный пост, потому что привыкли, потому что согласны, потому что кандидата лучше не было, нет и не будет. А то, что Сидорова такие вольности допустила, так это же и понятно: зависть! Самая что ни на есть черная зависть. А мы – люди простые, не завистливые. Поэтому – просим и, можно сказать, мечтаем...

* * *

Нина обещала подумать, но с ответом торопиться не стала. Ждала, пока явится с повинной завистница Людка. Но та, как нарочно, медлила. И подъезд был бесхозный, и дежурство забросили, и ремонт своими силами не сделали: не побелили, не покрасили. Иначе говоря – опять засрали подъезд, и Марфа тут ни при чем. Не в Марфе, получается, дело. Зря, значит, сдали, грех взяли на душу. Теперь век живи – и совестью мучайся.

О том, что человеческий век короток, напомнила жизнерадостная Люда Сидорова, нарочито не замечавшая бойкота Ждановой.

– Всю жизнь теперь надутая ходить будешь? – так попросила она извинения за когда-то сгоряча произнесенную речь.

И снова Нина не дала ответа обидчице и от нахлынувшего негодования словно увеличилась вдвое.

– Не хочешь, как хочешь, – в свою очередь отказалась от мировой Сидорова и стала подниматься по лестнице.

– Кобыла, – прошипела Жданова, с наслаждением отметив, как некрасиво содрогаются огромные Людкины бедра, и направилась в другую сторону, как бы по важным делам. Пока шла, строго, по-хозяйски осматривала территорию, примечая своим зорким глазом те или иные проявления беспорядка во дворе образцового содержания: брошенные бутылки из-под пива, валяющаяся на лавке промасленная газета, видимо, рыбу заворачивали, отпечатки ног на изнеженной уходом клумбе, грязь на вкопанных в землю шинах, выкрашенных в красный и синий цвета. Все как обычно: лето есть лето. Живи – радуйся.

Но вот радоваться у Нины в последнее время как-то не получалось. Оставшись без привычного дела, она все чаще и чаще стала впадать в ипохондрию и задумываться о вечном, которое прежде если и волновало, то исключительно в организаторском аспекте. Стоило какой-нибудь ветхой старушке естественным образом угаснуть, как Жданова с воодушевле-

нием доставала уже приготовленный заранее список жильцов и отправлялась по квартирам собирать деньги на похороны. С таким же воодушевлением она оповещала народ о поминках, о родинах и свадьбах. В отдельной тетрасточке у нее были записаны все телефоны и адреса не только соседей, но и их ближайших родственников. И только у двух человек из списка напротив номера квартиры стоял прочерк: у нее самой и у Марфы Соболевой.

Вот и получалось, что между нею и душевнобольной Марфой существовало никому не видимое родство, обнаружив которое Нина впала в такую искреннюю печаль, что опустились ее тяжелые руки. Получалось, случись что – и сообщить некому: ни одной живой души рядом. Тут, как назло, и вспоминалась сумасшедшая Марфа. И Жданова начинала думать о том, что Соболева такой стала не сразу! Не сразу в мусорных баках начала ковыряться, не сразу отбросы для своих кошек собирать, не сразу по получасу кружиться, задрав голову...

Нина помнила свою соседку с момента заселения их двадцать четвертого дома молодой и завораживающе беспомощной. Она еще мужа все время за руку держала. Все – под руку, а она – за руку. Идут вместе, а Маня семенит за ним, старается, шажочки-то маленькие. Пока тот один шаг делает, ей три приходится.

«Сколько лет-то прошло?» – задумалась Жданова и отмотала пленку памяти на три десятилетия назад. Прошла жизнь. Пролетела. И совсем не так, как хотелось бы...

Нине стало страшно от непредсказуемости человеческой судьбы: живешь, ни о чем таком не думаешь, а тут – раз, в голове что-то повернулось, шарик за винтик – и все! Человек с ума сошел. И ведь не сразу поймешь, что случилось: вроде все то же самое – те же руки, те же ноги, а на деле – нет! Не те же! Другие! «Это для других другие, – рассудила Жданова. – А для тебя те же самые. Разве Марфа понимала, что с ума сглупнулась? Жила себе и жила, пока этот бедлам кошачий не устроила. Не завоняло бы – никто б и внимания не обратил. Кому она больно-то нужна была? Никому!».

«Никто никому не нужен!» – пришла к горькому выводу Нина и встала как вкопанная перед калиткой детского сада «Солнышко», граничившего с территорией двора. За забором шумели дети, покрикивали воспитательницы, призывая малышей к порядку. Из открытых окон доносился рыбный запах – близился обед. «Вроде хек», – безошибочно определила Жданова и скривилась – не понравилось.

Постояв еще минуту, она одернула платье, сняла с груди какую-то прицепившуюся ниточку, протяжно вздохнула, а потом решила взять и вернуться к нормальной жизни, и пускай эта Сидорова от зависти сдохнет, когда узнает, кто в доме хозяин. «Какое-никакое, а дело!» – строго сказала себе Нина и отогнала прочь грустные мысли о конце жизни, об одиночестве и предательстве. Светило солнце, смеялись дети, грохотали трамваи, и в этой задорной атмосфере раннего лета растворилась ее печаль, и в груди высвободилось место для радости. Жданова взбодрилась и резко повернулась спиной к «благоухающему» вареной рыбой «Солнышку». Дел, пока она обижалась на соседей, скопилось невпроворот – дай бог, за лето бы осилить. «Осилим!» – пообещала она невидимому собеседнику и решительно двинулась через двор к родному подъезду.

С не меньшей решимостью Нина объявила на собрании жильцов не только о своем возвращении на покинутый пост, не только о необходимости косметического ремонта в подъезде, но и о том, что забота о ближнем – главное дело человека. «Сосед познается в беде!» – перефразировала она хорошо знакомую русскому человеку пословицу и предложила навестить отправленную на лечение Марфу.

– Это еще зачем? – удивилась Сидорова, сохранившая за собой право пребывать в оппозиции к старшей по подъезду, чтобы та не зарывалась.

– А затем, – убедительно ответила Жданова и попросила добровольцев поднять руки. Желающих не было, что и понятно: старожилов в подъезде осталось раз-два и обчелся, а из

новоприбывших никто добрых чувств к Марфе испытывать не мог, уж больно дурно пахла. – Никто, значит? – подвела итог Нина и с вызовом посмотрела на Люду Сидорову.

– Ну... – протянула та. – Я могу. Зачем только, не понятно.

– Силком никто тащить не будет, – строго объявила Жданова, но в сущности реакцией соседки осталась довольна.

– Из принципа поеду, – заявила жильцам Сидорова. – Все равно во вторую работаю.

Деньги на Марфу собирать не стали: не велика птица и на подножном корму проживет. Несли в квартиру Ждановой печенье, сухари, сахар, конфеты, кто-то даже банку с солеными помидорами умудрился притащить и кильку в томате.

– Не примут! – объявила Сидорова, смерив взглядом две клеенчатые сумки, доверху набитые съестными припасами.

– Не примут – обратно раздадим.

– Ага, обязательно! Все там оставим: психи подберут.

– Перед людьми неудобно, – пожалала плечами Нина Жданова. – Для Марфы старались – вон сколько натащили.

– Они не для Марфы старались. Они для тебя старались. Нужна она им как собаке пятая нога, чтобы для нее стараться! А вот ты – другое дело. Говорят, мол, Нина обидится, где еще такую найдем.

Передавая близко к тексту подъездные пересуды, Люда Сидорова думала, что берет реванш, указывая Ждановой на ее истинное место в подъездной иерархии, – терпят, потому что других таких дураков днем с огнем не найти. А Нина понимала это по-своему: ценят, потому и стараются, знают ведь, что без нее – как без рук. В результате – тихо торжествовали обе, при этом каждая держала фигу в кармане.

Так с фигой к Марфе и поехали. В душном сто семнадцатом автобусе, ходившем по строгому расписанию – всего шесть раз в день. Чаше и не надо: кто к психам чаще ездит? Никто. Вот и нечего бензин жечь попусту ради пяти человек. Захотят – на такси доберутся. А не захотят – пусть в общественном транспорте едут, пыль нюхают и в окошки смотрят: слева поле, справа – два. За ними речка Свайга блестит, тонкой змейкой вьется и за лесом обрывается. Дачи, дачи, дачи, вдоль дороги – дачники, лица красные от жары, в руках – инвентарь. Голосуют, подпрыгивая. Домой хотят. И не важно, что дом в другой стороне! Лучше здесь сядем, две цены заплатив, вроде как в оба конца, законное место – «оплачено»! Вот и стараются водители всех подобрать, встают, где придется, зато в карман есть что положить: лето ведь, сезон. Пять месяцев отъездишь – прибавка к зарплате. Как говорится, курочка по зернышку, а день – год кормит.

– Это ж сколько людей туда едет! – искренне удивилась Люда Сидорова, наблюдая за набившимися в автобус потными дачниками. – Это надо же, Нина, дело какое! Сидим у себя во дворе и не знаем, сколько их по свету шастает. Психов этих. И ведь что интересно, у кого – грабли, у кого – мотыги. Трудовой десант, твою мать. Как их выпускают-то в город?

Жданова усмехнулась в ответ и снисходительно поинтересовалась:

– Смотрю, ты в первый раз? (Сидорова кивнула.) Обыкновенного дачника от психа отличить не можешь. Тут садовые товарищества – «Парус», «Дружба», «Садовод». Народу – тьма, а автобус только один. Если на остановке дожидаться, не влезешь. Вот они и набиваются битком, чтоб до конечной доехать, а потом сидя до города добираться. Иначе – все: пешком иди. Или межгород дожидайся. Шобфер сжалится – посадит. А нет, так до города пешком драпать будешь.

– А ты-то откуда знаешь? – с подозрением поинтересовалась мелкоголовая Люда.

– Участок у меня тут был, в «Дружке», на работе дали. Так я один год поездила, и все, бросила его к шутам. Никаких огурцов не надо. Вышел из дома, дошел до базара и купил на рубль – ешь не хочу. Так в профкоме и сказала: «Христа ради не надо! Забирайте. Кому хотите давайте. На эти выселки не наездишься, только руки оборвешь и вконец измотаешься.

Не надо мне эти ваши шесть соток. Не хочу!» Уж они меня и так, и этак уговаривали: «Подумай. Потом, – говорят, – поздно будет. К земле потянет, это ты, мол, пока молодая, трава не расти. А к старости-то всех к земле клонит. Земля силу дает». «Не надо все равно, – говорю, – затоскую – цветы разведу, а так спасибо, слава богу, не нищая. Копейкой Бог не обидел. Куплю, коли надо будет». В общем, так и не согласилась. Участок потом Сурыгиной Лизке отдали, вроде как ее теперь участок-то. Не спрашивала, не знаю.

Рассказанная Ждановой история Сидорову несколько разочаровала, потому что не содержала в себе ничего такого, что могло бы заинтриговать любопытных соседок (наверняка расспрашивать будут), а заодно и скомпрометировать зазнавшуюся Нинку окончательно и бесповоротно. Кому это важно – знать, как она картошку сажала?

Оставшуюся часть пути ехали молча, равнодушно разглядывая нервных дачников. На конечной сошли, к общей радости набившихся пассажиров: все-таки два сидячих места освободилось. Кому-то повезет.

– Как обратно-то добираться будем? – поинтересовалась Люда, обеспокоенная переполненностью автобуса.

– А как получится! Влезем как-нибудь. Вон у тебя таран какой впереди, любую стену пробьет.

– Ты себя-то видела? – огрызнулась Сидорова и направилась к висевшему на столбе расписанию движения сто семнадцатого автобуса. – Посмотреть надо. Мне ж на работу еще.

– Ну посмотри, – разрешила довольная Жданова и медленно пошла к чугунным воротам, выкрашенным зеленой краской. Навстречу ей из небольшого каменного пристроя вышел сторож в больничном байковом халате, наброшенном поверх рубашки, и в кедах на босу ногу.

– Куда идем? Кого ищем? – Он явно соскучился по общению с внешним миром.

– Я навестить, – объяснила Нина и махнула рукой в сторону застрявшей около жестянки с расписанием Сидоровой. – Вот с ней... Люда! – истошно заорала она, и от ее крика вспорхнули расхаживающие около ворот жирные серые голуби. – Иди сюда!

Сидорова наконец-то оторвалась, медленно подняла полную провизии сумку и, покачивая бедрами, двинулась к больничным воротам.

– Кака-а-я женщина, – поцокал языком охранник и вожакообразно посмотрел на приближающуюся к ним Люду.

– Ну? Идем или нет? – не глядя на сторожа, обратилась она к Ждановой. – Следующий автобус в двенадцать, я посмотрела. Давай уже найдем твою Марфу и поедем.

– Чего это она моя? – придралась обделенная мужским вниманием Нина и подвинула к ногам вторую сумку.

– Ну не моя же! – не осталась в долгу ее соседка и, повернувшись лицом к сторожу, нежно пропела: – Молодой человек, нам к Соболевой Марфе. Как там ее по батюшке? – обратилась она к своей спутнице. («Васильевна», – подсказала та.) – Не подскажете, какая палата?

– Отчего ж не подскажу, – засуетился ошеломленный сидоровской красотой сторож и вынес из пристроя исписанные листы. – Сейчас поглядим... Поглядим, где у нас эта Соболева ваша числится и пускают ли к ней. Здесь ведь разные-то Соболевы лежат. И буйные лежат, и тихие лежат. И такие, что ни два ни полтора: от любой тени шарахаются. Сейчас-сейчас... Вот! Вот ваша Соболева. Ваша? – протянул он Люде исписанный фамилиями лист.

Сидорова передала его Ждановой, всем своим видом показывая, что она сама, в отличие от соседки, здесь-то уж точно случайно. Настолько случайно, что даже и смотреть сама не будет. Куда скажут, туда и пойдет.

Нина указательным пальцем заскользила вниз по листу, пока не наткнулась на нужную фамилию, рядом с которой чьей-то рукой было отмечено: «Состояние стабильное. Посещения разрешены».

– Пройдем тогда? – задала вопрос Жданова и оторвала от земли сумку.

– Вообще-то посещения у нас с десяти тридцати до двенадцати. Сейчас – десять. – Сторож молча протянул ей руку, сдвинув халат до локтя, чтобы был виден циферблат: – Ожидайте.

– Это как же ожидайте? – разволновалась Люда и красноречиво устала на сторожа. – Столько ехали и ожидайте?!

– Согласно расписанию, – пояснил тот и указал на выставленный в окне пристроя белый лист фанеры, на котором красной краской был прописан распорядок дня в больнице имени Карамзина.

– Пожалуйста, – взмолилась Нина, – пропустите нас. Вот хотите, мы вам консерву оставим? Или вот банку с помидорками? Поедите. Посолитесь.

– Я мзду не беру, – гордо произнес стражник, и лицо его приобрело заносчивое выражение. – Прием граждан с десяти тридцати до двенадцати по распоряжению главного врача.

– А в десять там у тебя чего? – высмотрела глазастая Сидорова и ткнула пальцем в пыльное стекло.

– В десять – беседа лечащего врача с родственниками пациентов.

– Ну так мы и есть родственники, – одновременно воскликнули соседки, однозначно намереваясь снести вредного сторожа со своего пути.

Их решимость не осталась незамеченной. Сторож сдал на пару шагов назад, а потом неожиданно стащил с ноги один кед и начал его вытряхивать прямо перед носом у прекрасных дам.

– Чё-то колет, – пожаловался он и, нацепив кед обратно, отправился к воротам, где вынул из петель замок, висевший больше для устрашения нежели для безопасности. – Проходите. – Створка ворот приоткрылась совсем немного, ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было просунуть руку, ну или на худой конец ногу, но никак не Людину грудь или ждановские плечи.

– А пошире открыть нельзя?! – одновременно рывкнули женщины, нагруженные неподъемными сумками.

– Попробуем, – миролюбиво пообещал сторож и с очевидным усилием надавил на чугунную створку. Щель стала чуть шире, но не настолько, чтобы в нее было легко поместиться.

– Недужный, что ли?! – заподозрила Жданова и, поставив на землю сумку, уперлась плечом в ту половину ворот, на которой повис тщедушный страж в кедах. От приложенных усилий створка поддалась и медленно, вместе с висящим на ней гражданином, отъехала в сторону, освободив проход для посетительниц. – Пойдем! – скомандовала Нина соседке и, схватив сумку, первой прошла на больничную территорию.

Карамзинская больница белела в просвете длинной аллеи, по краям которой росли огромные старые вязы и лучились тропинки, утрамбованные ногами прогуливающих на свежем воздухе пациентов. То здесь, то там виднелись выкрашенные такой же зеленой, как и входные ворота, краской лавочки. На некоторых сидели люди: где вдвоем, где поодиночке. На них были надеты синие больничные халаты. По видневшимся из-под застиранной байки ногам невозможно было определить, кто перед тобой – мужчина или женщина. По лицам – тем более: одинаково опрокинутые в себя, с отсутствующим взглядом застывших глаз.

– Смотри, – прошептала присмирившая Сидорова и толкнула Нину в бок. – Сколько их тут. Жуть просто.

– А как ты хотела? – тоже шепотом ответила ей Жданова. – Чай, мы с тобой не на курорт приехали, а в этот, как его, дом скорби. Вот.

– Скажешь тоже, дом скорби... Аж нехорошо делается. Больница как больница.

– Тебе виднее, – язвительно прошипела старшая по подъезду и заторопилась к главному корпусу.

Рядом с ним было как-то повеселее: у гипсового фонтана, никогда не знавшего воды, курили санитары, зычно покрикивая на больных. Те пугались, отскакивали в сторону, а потом

снова приближались к курящим и, вытянув шею, с любопытством смотрели, как у тех изо рта вырывается дым.

Появление двух теток, нагруженных огромными сумками, не осталось незамеченным ни медперсоналом, ни гуляющими вокруг фонтана пациентами.

– Кого ищем, мамыши? – полюбопытствовали молодые как на подбор санитары, весело переглядываясь.

– Соболеву. Из пятой палаты, – доложила Люда Смирнова и приготовилась ждать дальнейших указаний.

– Да вон она, – пробурчала катящая мимо тележку, полную грязного белья, нянечка.

– Где?! – спохватилась Жданова и завертела по сторонам головой.

– Во-о-о-он! – показала рукой пожилая низкорослая нянечка и покатила дальше.

– А передачи как? Сразу? Отдать можно?

– Прием передач внизу, – подсказали санитары. – Но только смотрите, чтоб без запрешенки – алкоголь там, оружие... – пошутили над тетками парни и показали, куда идти.

– Давай быстрее, – подтолкнула Жданову в спину Люда. – А то пока ходим, уйдет куда-нибудь наша Марфа. Будем потом по всему парку бегать искать.

Как и предвещала Сидорова, половину из того, что собрали жильцы для больной на голову соседки, нянечки отбраковали, сославшись на список продуктов, разрешенных для передач.

– Может, оставите? – попросила Нина, но ничего в ответ не услышала.

– Не трогай ничего. Сами разберутся, – зашипела нетерпеливая Сидорова и потащила соседку к выходу. – Пойдем уже. Отметимся – и домой.

Найти Марфу особенного труда не составило: Соболева как сидела на лавочке недалеко от главного здания больницы, так и продолжала сидеть. Только, в отличие от остальных пациентов, она взгромоздилась на спинку скамьи, предусмотрительно скинув больничные тапочки. Халат Марфа задрала до колен, отчего обнажились худые синюшного цвета ноги – точь-в-точь заснувшая на перекладине тощая несуразная птица с безвольно завалившейся набок головой.

«Вот зачем я сюда приперлась?» – мысленно посетовала Нина Жданова и украдкой взглянула на притихшую Сидорову. Та, похоже, испытывала аналогичные чувства: подойти к Соболевой было страшно. И когда до греющейся на солнышке Марфы оставались считанные шаги, Люда встала как вкопанная и прошептала:

– Давай не пойдем, Нин? Чего-то мне не по себе. Ты посмотри на нее, посмотри: чисто смертушка. Не ноги, а палочки. Высохла вся. На саму себя не похожа. Мы ж все привезли, все отдали, можно и домой. А вдруг она буйная там или что?

– Буйных на улицу не пускают, они вот там. – Нина указала рукой на двухэтажный флигель, на окнах которого виднелись решетки. Тоже, между прочим, выкрашенные зеленой краской.

– Откуда ты знаешь? – засуетилась Сидорова, преградив Ждановой путь. – Ты что? Доктор? Ты ее когда последний раз видела?

– Тогда же, когда и ты.

– Ну вот! – торжествующе воскликнула покрывшаяся красными пятнами Люда и схватила соседку за руку. – Давай не пойдем. Отсюда посмотрели – и хватит. Что она нам, родня?!

– Мы что, зря ехали? Полтора часа в автобусе тряслись, сумки эти тащили, чтоб издалека на нее взглянуть и домой податься? Ты как хочешь, а я подойду, – вырвала свою руку Нина и зашагала по направлению к Марфе.

– Ну и иди! – выкрикнула ей вслед Сидорова. – А я не пойду.

Но шаг все-таки сделала. Сначала один, затем другой, ну а потом покорно засемила за Ждановой и встала у нее за спиной.

– Мань, – тихо позвала Нина нахохлившуюся Соболеву. – Ты спишь?

Марфа приоткрыла глаза и посмотрела сквозь.

– Мань, это я, Нина, – прошептала женщина и протянула к Соболевой руку. – Помнишь меня?

Марфа подняла голову, внимательно посмотрела в глаза Ждановой и пожала плечами.

– Не помнит, – прошептала за спиной у Нины Сидорова.

– А Люду? Люду помнишь? – Жданова сделала шаг в сторону. – Вот она. Узнала?

Соболева отрицательно покачала головой, а потом еще раз внимательно посмотрела на Нину. Жданова вытянулась перед ней и дала время подумать. Пока Марфа копалась в отсеках собственной памяти, Сидорова подталкивала Нину в спину и тоненько ныла: «Давай уйдем, ну дава-а-а-ай...»

– Да отвяжись ты! – разозлилась Жданова и бухнулась на лавку, отчего Соболева автоматически поджала ноги, потеряла равновесие и начала заваливаться в сторону. – Куда-а-а? – Нина схватила ее за лодыжку и потянула вниз. – Сядь давай по-человечески. А то, смотри, улетишь.

Марфа быстро поняла, о чем идет речь: посмотрела на небо, потом вниз, на землю, и послушно села рядом с Ниной, спустив босые ноги на пожелтевшую колючую траву.

– На-ка, надень, – неожиданно шустро подсуежилась Сидорова и подвинула ногой стоящие на земле тапочки.

Соболева вопросительно посмотрела на сидящую рядом Жданову, на что та криво улыбнулась и произнесла чуть ли не басом:

– Давай-давай, надевай тапки-то. Неча босой сидеть, ноги наколешь. Больно будет. Понимаешь, бо-бо.

Услышав это «бо-бо», Сидорова в недоумении уставилась на обеих, успев подумать, что сумасшествие, должно быть, штука заразная. Но тем не менее присела рядом и зачем-то погладила Марфу по синей байковой коленке.

В присутствии Соболевой с этими грубоватыми и мужеподобными женщинами происходило что-то странное. Хамоватые и резкие на язык, они словно стали нежнее, замурлыкав на каком-то детском языке. И со стороны могло показаться, что каждая из них вернулась к моменту, когда испытала радость материнства и в общении с малышом легко заменила взрослую речь на слюнявое сюсюканье. Но, увы, ни Жданова, ни Сидорова такого опыта не имели: обе были бездетны, обе не замужем, обе одиноки. Они жили жизнью посторонних людей, потому что в их собственной не было событий. Огромная энергия материнской и женской любви скрывалась в каждой из них так глубоко, что со стороны легко сходила за желание руководить. В быту это называлось «во всех дырках затычка», а в официальных характеристиках – высокая гражданская ответственность, интерес к общественной жизни и личное участие в делах коллектива. А что? Разве не эти качества погнали двух общественниц в дорогу и заставили вести безумные разговоры с умалишенной Марфой? Впрочем, назвать это разговором можно было с большим трудом.

– Мы это... – заикнулась было Жданова, но Сидорова тут же ее перебила и елеинным голосом спросила у Соболевой:

– Тебя тут надолго, Мань, оставят-то? Или выпишут все-тки?

Соболева с опаской покосилась на говорящую гору и, скрестив руки на груди, начала раскачиваться взад и вперед.

– Ты чего, Люд, рехнулась? Ты ее о чем спрашиваешь? Не видишь – сама не своя, ничё не соображат.

При звуках Нининого голоса Марфа успокоилась и перестала качаться. А потом ее лицо приобрело жалобное выражение, и, похлопав себя по голове, она произнесла:

– Больно.

– Чё там у тебя больно? – приподнялась с места Сидорова. – Давай-ка посмотрю.

Марфа отрицательно покачала головой и еле слышно спросила:

– А где мой Костя?

– Кто? – удивилась Люда и вопросительно посмотрела на Нину.

– Муж ее, – пояснила та.

– Мой, – подтвердила Соболева и сделала это вполне осмысленно.

– Ну дык откуда мы знаем-то? – удивилась Сидорова и, разведя руки, честно ответила: – Не знаем мы, где твой Костя! Не видели.

– Люда, – неожиданно обратилась к Сидоровой Марфа, а потом тут же утратила интерес и замкнулась.

– Смотри-ка, вспомнила меня, – обрадовалась Сидорова и, прижав руку к груди, по слогам повторила: – Лю-да. Я – Лю-да... А это, – она ткнула пальцем в Жданову, – Ни-на... Ни-на...

– Нина, – послушно повторила Соболева и больше не проронила ни одного слова.

– Ничё не помнит, – подвела итог Жданова и предложила отвести Марфу в палату. – Бери ее под руку. И я возьму.

Соболева была легкой как перышко. Ей, похоже, было совершенно все равно, где коротать время, про время она ничего не понимала, равно как и не понимала, каким образом оказалась зажата с двух сторон этими огромными тетками. Жданова с Сидоровой практически лишили ее возможности переступить собственными ногами и протащили ее по аллее до главного корпуса, можно сказать, на руках.

– А у нас что? Соболева ходить разучилась? – проронил пробегающий мимо бородатый доктор.

– Так это мы ее поддержать, чтоб не устала.

Ответ доктору был не интересен, зато Марфа при звуках его голоса оживилась и, поблескивая глазами, сказала:

– Ко-остя...

– Кто? – в очередной раз удивилась Сидорова.

– Нет никто, – проворчала Нина. – В палату заводить будем? Или тут оставим? Вон лавок сколько – пусть сидит, воздухом дышит.

Пока соседки решали, что делать с Марфой, та аккуратно вытащила руки, отряхнула халат, потом задрала его, посмотрела на свои остренькие коленки и, покачиваясь, медленно побрела к стоящей неподалеку скамье.

– Куда ты, Мань? Давай доведем, – сунулась было вслед за ней Люда, но Жданова ее остановила:

– Не трожь. Не надо. Сама пусть. Домой пора.

– Сама так сама, – с готовностью согласилась Сидорова и, вздохнув, впервые в жизни подставила соседке свой локоть: – Пошли уже, Нин. Хватит. Ну ее, это... Чё ж сделаешь?! Повидались и ладно. Может, еще раз как-нибудь приедем, – потянуло ее на подвиги.

– Не поеду больше, – зареклась опечаленная Нина и незаметно для себя самой взяла спутницу под руку. – Выпишут – сама явится.

– Не, не выпишут ее, наверное, – предположила Люда, и соседки в последний раз обернулись, чтобы убедиться, дошла ли Марфа.

– На нас вроде смотрит? – предположила Жданова и взмахнула рукой, как будто попрощалась.

– Ага, скажешь тоже! – скривилась Сидорова, а потом резко дернула отвернувшуюся Нину за рукав: – Смотри-ка! Смотри-ка быстрее!

Забравшаяся с ногами на скамейку Марфа Васильевна Соболева несколько раз махнула Нине в ответ, а потом вытянула вперед руку и мелко-мелко затрясла кистью то в одну, то в другую сторону.

– Ишь ты, – растрогалась Жданова, – дурак дураком, а туда же – машет, прощается.

Сколько еще махала им вслед оседлавшая лавку Марфа, женщины не видели. Не оборачиваясь, они ступали в ногу большими шагами, торопясь прочь из этого мрачного парка.

Прибывший на конечную станцию сто семнадцатый автобус соседки взяли штурмом, потеснив скопившихся в проходе дачников.

– Аккуратнее, – взмолились садоводы, придавленные сидоровской грудью, – дышать нечем.

– Тесно ехать – дома сидите, – тут же нашлась Люда. – Сначала набьются, как сельдь в бочку, а потом ноют: дышать им нечем. Слышь, Нин?! Нечем им дышать! Их бы туда вон, к Марфе, на час-другой, тут же второе дыхание откроется.

Нина молчала и с грустью думала о Мане Соболевой, оставшейся среди старинных вязов с поднятой рукой.

– Ни-ин, – снова подала голос Сидорова, – ты там не уснула?

Жданова неловко пошевелилась и пожаловалась:

– Стою. Неудобно.

– Мне вот тоже неудобно, – не оборачиваясь, сообщила ей Люда и с нетерпением повела плечами, пытаясь растолкать скрючившихся пассажиров. – Я чё спросить-то у тебя хотела. А этот Костя? Муж ее. Ты его знала?

– Знала, – нехотя проронила Нина.

– Ну и чё? – продолжала расспрашивать ее Сидорова.

– Ну и ничё. Костя как Костя...

* * *

И правда, на первый взгляд в Косте Рузавине не было ничего примечательного: низенький, тщедушный, головка тыковкой, носик остренький, на лице – родинка. Мальчишка мальчишкой, особенно со спины. А ведь после армии уже. Года два как помощником машиниста отъездил.

Военную службу Костя вспоминал добрым словом и регулярно писал письма сослуживцам, называя каждого из них «брат»: «Здравствуй, брат... Как поживаешь, брат... Помнишь, брат?.. Всего тебе хорошего, брат...» Можно сказать, что по армии Рузавин скучал. Там он научился играть на семиструнной гитаре и безошибочно, как он думал, разбираться в людях, разделившихся на два лагеря – «хорошие» и «плохие». «Хороших» было больше, в этом Костя успел убедиться на собственном опыте. «Плохих» – меньше, и с ними нужно было держать ухо востро.

В миру все оказалось гораздо сложнее: слишком много соблазнов, о которых предупреждали мама, сестры, а также Михалыч – машинист, под руководством которого Костя Рузавин бороздил просторы своей необъятной родины. Правда, пока дальше Урала судьба его не забрасывала. В продолжительных поездках Михалыч делился не столько профессиональным опытом, сколько житейским.

– Бабы – это зло, – говорил он и в качестве доказательства приводил в пример собственную жену Клаву. – Не женись, Костян, пока не перебесился. Гуляй, пока молодой, а то потом...

Что будет «потом», поммаш Рузавин обычно пропускал мимо ушей, потому что жил ощущениями исключительно сегодняшнего дня. И эти ощущения Косте были приятны. В голове у него всегда играла одна и та же незатейливая мелодия собственного сочинения, радостная и грустная одновременно. Именно она заставляла биться отзывчивое рузавинское сердце в унисон с птичьим щебетом и цоканьем женских каблучков. И от этого выражение Костиного лица время от времени становилось блаженным. Его даже в церковный хор звали, потому что на ангела похож. Но Костя был атеистом и хотел петь в Доме культуры железнодорожников, где

числился одновременно в двух секциях: хорового пения и игры на гитаре. Ни там, ни там он недотягивал до позиции солиста, но так старался, что руководители кружков приводили его в пример тем, кто был стократ его одареннее.

Музыка сопровождала его жизнь всюду: она звучала из репродукторов, со сцены родного Дома культуры, рождалась в переливах девичьих голосов, детского смеха, шелеста листвы, шума дождя. Вечерами Костя терзал струны, пытаясь уловить постоянно ускользающую от него мелодию, но вместо нее на свет появлялись абсолютно одинаковые переборы, называемые «тремя аккордами», зато на них ложились любые слова:

Дым костра создает уют,
Искры гаснут в полете сами.
Пять ребят о любви поют
Чуть охрипшими голосами...

Рузавин не знал, кому принадлежат эти строки, уже не помнилось, где подслушанные, поэтому искренне считал их своими и щедро вносил туда изменения «на случай»:

Дым костра отгорел давно,
Искр не видно, уже погасли.
Я пою о любви одной
Хриплым голосом и со слезами...

Иногда в перефразированном тексте известной песни появлялись женские имена, но долго в нем не задерживались, исчезали довольно скоро, так и не успев приобрести законное звучание.

В делах сердечных Костя постоянством не отличался. И не потому, что был ветреным, а потому, что был безотказным. И ласковым. За это его женщины и любили, самозабвенно и как-то очень по-матерински. Большая часть из них была старше Рузавина, некоторые – даже с детьми, при встрече с которыми Костя краснел, смущенно покашливал, а потом сажал к себе на колени и что-нибудь вместе с ними мастерил. Чужие дети любили Рузавина ничуть не меньше, чем чужие женщины. Впрочем, в построении отношений с замужними дамами у Кости были свои принципы. Возможно, поэтому женатые мужики относились к нему с особой симпатией: «Хороший Костян парень. Сам не жадный и чужого не тронет». «Грех семью разбивать», – декларировал свою позицию Рузавин и осенял себя крестным знамением, хотя в его анкете было недвусмысленно указано: «В Бога не верю. Человек – сам кузнец своего счастья».

И счастье не заставило себя ждать, явившись перед активистом Рузавиным в образе Машеньки Соболевой, выпускницы Кушмынского железнодорожного техникума по специальности «проводник на железнодорожном транспорте».

– Кто это? – Дыхание Кости сбилось с верного ритма, и рука взяла не ту ноту в аккорде.

– Это? – снисходительно улыбнувшись, переспросила его Судьба и пророкотала в Костины уши: – Она-а-а-а...

– Она? – только и смог вымолвить растерявшийся Рузавин, и в голове голосом Михалыча пророкотало: «Вот ты и доигрался...»

– Доигрался, – буднично подтвердила мама, сестры, бывшие братья по оружию и соседи по общежитию.

– Не женись, – жалобно попросил Михалыч и задал, казалось бы, совсем неуместный вопрос: – А как же я?

– А я? – несколько раз повторили те, с кем Костя когда-то был особенно ласков.

– Нет, не могу, женюсь, – мягко объяснял им свой отказ Рузавин, избегая смотреть в глаза бывшим подругам.

– А если в последний раз? Попрощаться? – не теряли надежды те и шептали на ухо Косте разные соблазнительные слова типа: «А помнишь? Вот как ты любишь... Тебе же нравилось...»

– Нет, – твердо стоял на своем Рузавин и специально держал руки в карманах, чтобы никто не взял и не повел его не в ту сторону. Свое направление, думал Костя, он определил окончательно, и называлось оно «Машенька».

– Скажи, чтоб из проводниц ушла, – хмуро посоветовал Михалыч, не отрывая взгляда от панели управления.

– Зачем? – изумился Костя, следя за показаниями приборов.

– Затем, что лапаты будут... – пообещал машинист. – Вон она у тебя какая! Так в ладонь и просится. Стрекоза чисто.

И правда, стрекоза. Широко расставленные глаза на круглом личике, нос пуговкой, губки ниточкой, ручки-ножки худенькие, как соломинки, веса вообще нет, того и гляди ветром унесет. Но Костя не даст, не допустит: встанет на пути, прижмет к сердцу и двумя руками держать будет: никуда не улетишь, так на груди и застынешь, хрустальная, чужому не видимая.

– Убью! – грозил невидимым врагам Рузавин и боялся уходить в рейс.

– Остынь! – успокаивал его Михалыч, а сам с каким-то садистским сладострастием подливал масла в огонь: – Все бабы такие. Не переделаешь!

– Не все! – спорил с ним помощник. – Моя не такая.

– Такая, – лепил поперек Михалыч, завидуя влюбленной юности.

– Нет, – категорически отказывался верить машинисту Костя, и сердце его щемило все сильнее и сильнее. – Уходи с маршрута, – просил он Машеньку, а та лишь удивлялась в ответ: – Зачем?

– Обидят, – избегал правдивого ответа Костя.

– Не обидят, – уверяла его хрупкая стрекоза и тянула лапки-палочки к тревожному Костиному сердцу. – Хороших людей больше.

– Больше, – пытался поверить жених и шептал невесте на ухо: – Скорей бы свадьба!

– Скорей бы, – подхватывала дрожавшая от нетерпения Машенька, не умея сфокусировать взгляд, – широко расставленные глаза словно к вискам разбегаются.

– Может, боишься? – успокаивал ее Костя и усаживал к себе на колени.

– Да нет вроде, – поведя плечиком, прижималась она к жениху с такой силой, что казалось – внутрь залезть хочет. А Костя, стесняясь желания, прижимал к себе будущую жену до хруста в ее тоненьких косточках и, как зверь, воздух в себя вдыхал часто-часто.

Смеялась Машенька. «Чем пахнет?» – спрашивала.

А как тут скажешь, чем пахнет?! Разве возможно?! И слов-то таких нет, подходящих. Не придумал их еще Костя, потому что никому такого не говорил. Голова кружилась – было; внизу тяжелело, давило до боли, того и гляди, разорвется – тоже, но вот чтобы глаза сами собой закрывались и запах пьянил, чтоб плакать хотелось навзрыд, как маленькому, – такое в его жизни случилось впервые. Но это еще полбеды... Пугало Рузавина другое. Обнаружилось внутри нечто, с чем он боялся не справиться, – темное, животное: хотелось не просто обладать Машенькой, хотелось скомкать ее, как бумажный лист, перетереть в ладонях до серого крошева и проглотить, как пакет с секретным донесением. Пусть покоится там внутри, пока не растворится и не станет частью тебя.

Чувствовала ли проснувшуюся в Косте странную злобную силу его стрекоза, неизвестно. Известно только, что в этот момент Машенька затихала и смотрела куда-то поверх Костиной головы – в никуда – своими перевернутыми к вискам глазами.

– Сыграй мне, – просила она, соскальзывая с его острых колен, – мою любимую...

И Костя, не сразу понимая, о чем его просят, какое-то время сидел, словно в забытии, а потом брался за гитару и, перебрав струны, выдавал хорошо знакомое:

Дым костра создает уют,
Искры тают в полете сами.
О любимой своей спою
С удивительными глазами...

Песня Машеньке нравилась, она даже пробовала подпевать, но быстро останавливалась и замирала, наблюдая за движением Костиных пальцев. И как только он от переизбытка чувств закрывал глаза, его возлюбленная торопилась сделать то же самое. Так, зажмурившись, и сидели друг напротив друга, пока не возникало естественное желание вернуться в действительность по какому-нибудь поводу:

- Пить хочется, – жаловалась Машенька.
- И мне, – вторил ей Костя.
- И есть, – добавляла любимая.
- И есть...

Готовить не было сил. Все они уходили на то, чтобы любовь циркулировала по кругу, двигаясь от одного к другому. Поддерживали себя, чем придется: ломали буханку серого, посыпали солью, открывали консервы и пользовались одной вилкой на двоих – использовать вторую не было смысла.

От такой любви можно было сойти с ума, умереть от голода, от жажды, и сделать это с несказанным удовольствием. Все равно лучше уже не будет.

«Ну как он там?» – тревожилась мать за сына и гнала дочь в мужское общежитие железнодорожного депо на разведку.

За Машеньку тревожиться было некому.

– Детдомовка? – удивилась Костина сестра Вера и преисполнилась к будущей снохе жалости.

– Да вроде нет. Ничего не говорила, – пожал плечами Рузавин и потер кадык.

– А чего ж не узнаешь? – изумилась Вера, служившая медсестрой в военном госпитале. – Человек не сорняк, сам по себе не растет. А у тебя от нее дети будут.

– Когда еще, – развел руками Костя.

– Скоро, – пообещала заботливая сестра. – Женишься, и будут, а ты даже родни своей не знаешь: кто мать? кто отец? откуда? Или вы свадьбу не играете?

– Играем, – успокоил сестру Рузавин. – Заявление ж подали.

– И когда?

– В мае женимся.

– В мае?! Не надо, Кость, в мае. Не женятся люди в мае-то. Май – плохой месяц. Кто в мае, тот и мается. Всю жизнь мается. Не зря ж говорят.

– Вер, ну какая разница: в мае, в апреле? Спросили: «На май согласны?» Согласны. Ну, раз согласны, то и дело с концом.

– Как скажешь, Костя, – тут же смирилась Вера и решила еще на один вопрос: – А свадьбу большую делать будете?

– Да нет, – протянул Рузавин. – Человек на двадцать. И то не наберется. Ты вот с мамкой, Михалыч с женой, я с Маней – это шесть. Ребята мои, – Костя мысленно перебрал имена товарищей, загибая при этом пальцы, – четверо. Десять, значит. Кореша армейские – не знаю, то ли будут, то ли не будут. Ну и от Машульки – подружки, – Рузавин немного подумал и уточнил: – Может быть. Одна. Варя – напарница. Ну и еще, вдруг что, пять мест оставили. Кто знает, сестры-то наши с тобой из Ленинграда приедут?

Вера отрицательно покачала головой.

– Думаешь, не приедут?

– Далеко уж больно: два дня дороги-то. Опять же – с детьми ехать придется. Больно, Кость, хлопотно.

– Их дело, – вдруг обиделся всегда добродушный брат и сложил перед собой руки, как первоклассник.

– Да ты на них не серчай, – захлопотала вокруг него Вера. – Свои дети будут, поймешь, – пообещала она, защищая сестер, а потом вдруг спохватилась и все-таки решилась задать еще один вопрос, предварительно сопроводив его извинениями: – Ты уж, Кость, прости меня, скажешь, мол, не в свое дело лезу, только вот непонятно, Маша-то твоя... С ее стороны, говоришь, только одна подружка будет? А может, и не будет. Ни отца, ни матери, никого?

Рузавин хлопнул глазами и с досадой хлопнул себя по лбу:

– Да я как-то и не подумал!

– Вот! – торжествуя воскликнула Вера. – А ты подумай! Подумай и спроси: чья ты, мол, Маша? А то не жена, а кот в мешке, – повторила она слова своей престарелой матери и тут же расстроилась, потому что увидела, что у брата испортилось настроение. – Ты это, Кость, не надо, не обижайся. Я б и не спросила, мама вот очень волнуется: как? чего? Мне-то как скажешь: надо, значит, надо.

Хотела было Вера напроситься на встречу с будущей женой брата, да не осмелилась – и так больно много наговорила, хоть и молчунья. Уехала, так и не выполнив материнского задания – посмотреть, разузнать, Косте жизнь облегчить. Да и облегчения-то особенного не получилось: наоборот, похоже, растревожился Рузавин, задумался и нечаянно заснул в ожидании возлюбленной.

В Костином сне звучала музыка – та самая, что в каждом аккорде ему мерещилась и за собой звала Машенькиным голосом: «Пойдем со мной... Со мной – счастье... Ты и я... Больше никто не нужен...» «Никто!» – подумал Костя и проснулся в залитой солнцем комнате. На подоконнике сидела, обняв колени, материализовавшаяся из сна возлюбленная.

– Пришла? – выпрыгнуло из груди Костино сердце и поскакало к Машенькиным ногам. Даже головы она не повернула, только губы поджала.

– Давно сидишь? – поинтересовался Костя и с силой потер глаза – вдруг мерещится.

Снова не ответила ему возлюбленная. Даже бровью не повела.

– Чего ты? – поднялся Костя и шагом преодолел разделяющее его с нею пространство. – Случилось что?

Приоткрыла свои стрекозиные глаза Машенька, ресницами хлопнула и строго на будущего мужа посмотрела, в ту самую его глубину, в которую он и сам не заглядывал:

– Кто у тебя был?

– Никто, – отсекся от сестры Рузавин, словно запомнил об ее визите.

– Не ври, – снова хлопнула ресницами Маша и расцепила руки.

– Честно, – улыбнулся Костя и потянул возлюбленную на себя.

Машенька уперлась ногами в окрашенный масляной краской откос и замотала головой.

– Иди-иди, – приговаривал Костя, а сам, перехватив будущую супругу под грудью, продолжал стаскивать ее с подоконника. Та, упиравшись в его плечи руками, задела локтем стекло. Оно задребезжало, Маша вздрогнула, потеряла бдительность и оказалась в руках у жениха. – Тихо-тихо, – прошептал он ей на ухо и стиснул в объятиях. – Смотри – вылетишь.

– И вылечу, – посулила Машенька. – Если узнаю...

– Тебе бояться нечего, – прошептал Костя, выкладывая возлюбленную, словно маленького ребенка, на кровать. – Куда я от тебя денусь?

– А кто приходил тогда?

– Кто? – никак не понимал Рузавин сути тревожащего Машенькину душу вопроса.

– К тебе. Сказали. Женщина приходила. Сегодня. Красивая.

– Ко мне? Женщина? Так это не женщина! – объяснил Костя. – Это Вера. Сестра. С тобой вот познакомиться хотела. Да ждать не стала – на автобус опаздывала. У нас ведь мать в поселке. Никак в город не хочет перебираться. Вот Вера через день к ней и катается.

– А ты?

– Что я?

– А ты чего не катаешься? – еле слышно вымолвила Машенька.

– Так мне некогда, – охотно пояснил Костя. – Я тебя жду. У нас ведь с тобой как? То ты в рейсе, то я. Вся жизнь в ожидании проходит. Ты же вот тоже домой не катаешься? Или ты городская?

– Нет.

– А чья ты, Маш?

– Твоя, – потянулась к Рузавину девушка.

– Это я понимаю, что моя. Родители-то у тебя есть?

Машенька утвердительно кивнула.

– Далеко?

И снова девушка предпочла отмолчаться и просто покачала головой.

– А где? – продолжал выспрашивать ее Костя, вдруг неожиданно заразившийся тревогой, которую оставила ему сестра.

– Охотничья, – немногословно ответила Машенька.

– Так это ж рядом! – обрадовался он. – По московскому направлению. Пять минут от Кушмынска. Может, съездим?

– Не к кому.

– Как не к кому? Ты ж сказала, родители есть.

– Есть. Отец помер. А мать в городе.

– Так давай к матери тогда. Раз в городе. Хоть познакомишь. Свадьба ж скоро. Пригласить надо.

– Не надо, – отказалась Машенька и закрыла глаза.

– Ну как это не надо? – заволновался Костя. – Это ж мать. Положено так. Что ж это я без тещи свадьбу буду праздновать?! – попытался пошутить Рузавин. – Не по-людски как-то. Не по-человечески. Что ж она у тебя... зверь, раз нельзя гостям показать?

– Нельзя, – отвернувшись к стене, Маша зарылась лицом в подушку, словно спряталась, а потом долго лежала, не говоря ни слова.

Не стал он ее тревожить: молча ходил от стены к стене на цыпочках, стараясь не шуметь. Отчего-то смотреть в Машенькину сторону было боязно: на спину перевернулась, носик к потолку вздернула, глаза свои стрекозиные закрыла, лежит не шелохнется, словно в гробу царевна. Раз, вроде как нечаянно, взглянул на нее притихший жених, другой, а потом не вытерпел и склонился: дышит ли?

– Маша, – осторожно провел он рукой по ее щеке. – Что с тобой?

Даже не вздрогнула стрекоза: только глаза приоткрыла и снова в себя ушла, будто над ней, кроме потолка, ничего не было.

– Мань! – занервничал Костя. – Ты чего ж так расстроилась?

Девушка еле заметно покачала головой.

– Не расстроилась? – продолжал допытываться Костя. – А чего? Обиделась? Я ж как лучше хотел... Как положено. Не хочешь меня с матерью знакомить, не надо. Твое дело. Слова тебе не скажу. Нет и нет... Только ты не молчи вот так вот, как сейчас. А то будто меня и нет здесь. Лежишь и молчишь. Ну хочешь, в кино ходим?

Маша упорно молчала.

– Не хочешь в кино? Давай пройдемся. Тепло на улице, хорошо.

– Я к маме хочу, – неожиданно вымолвила Машенька и села в кровати. – Поедем.

Услышав ее немного хриплый голос, Костя чуть с ума не сошел: что ж это такое происходит?! Он ей – про Фому, она – про Ерему, не хочу, не буду. И вдруг – на тебе: маму ей подавай.

* * *

В тот вечер Константин Рузавин в первый и в последний раз видел свою тещу – Глафиру Андреевну Соболеву, о существовании которой сегодняшним утром он даже и не подозревал. Эту женщину он узнал бы из тысячи других благодаря широко расставленным, как и у Маши, глазам. На первый взгляд сходство было настолько поразительным, что даже возраст не внес никаких специфических различий. Однако при более близком рассмотрении у Кости возникло странное ощущение: он почувствовал себя в опасности. И знал ведь – ничего ему не угрожает, а невнятная тревога все разрасталась и разрасталась. «Отчего?» – озадачился Рузавин и, тайком взглянув на Глафиру еще раз, ахнул. У Машиной матери были съевшие радужку расширенные зрачки, отчего глаза казались двумя черными дырами.

– От лекарств, – прочитала его мысли чуткая Машенька и уверенно протянула к матери руку.

– Здравствуйте, – поклонился теще Костя Рузавин и почувствовал исходящий от нее неприятный запах. Ни на него, ни на дочь Глафира Андреевна никак не отреагировала. Просто посмотрела и отвернулась.

– Мама, Костя, – попробовала довести начатое дело до конца Машенька и скривилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.